

Александр Степанович Грин

# Человек с человеком



Александр Грин  
**Человек с человеком**

«Public Domain»

1913

**Грин А. С.**

Человек с человеком / А. С. Грин — «Public Domain», 1913

«— Эти ваши человеческие отношения, — сказал мне Аносов, — так сложны, мучительны и загадочны, что иногда является мысль: не одиночество ли — настоящее, пока доступное счастье. Перед этим мы говорили о нашумевшем в то время деле Макарова, застрелившего из ревности свою жену. Осуждая Макарова, я высказал мнение, что человеческие отношения очень просты и тот, кто понял эту их ясность и простоту, никогда не будет насильником...»

# Содержание

I	9
Конец ознакомительного фрагмента.	11

## Александр Грин

### Человек с человеком

– Эти ваши человеческие отношения, – сказал мне Аносов, – так сложны, мучительны и загадочны, что иногда является мысль: не одиночество ли – настоящее, пока доступное счастье.

Перед этим мы говорили о нашумевшем в то время деле Макарова, застрелившего из ревности свою жену. Осуждая Макарова, я высказал мнение, что человеческие отношения очень просты и тот, кто понял эту их ясность и простоту, никогда не будет насильником.

Мы ехали по железной дороге из Твери в Нижний; знакомство наше состоялось случайно, у станционного буфета. Я ждал, что скажет Аносов дальше. Наружность этого человека заслуживает описания: с длинной окладистой бородой, высоким лбом, темными, большими глазами, прямым станом и вечной, выражающей напряженное внимание к собеседнику полуулыбкой, он производил впечатление человека незаурядного, или, как говорят в губерниях, – «заинтриговывал». Ему, вероятно, было лет пятьдесят – пятьдесят пять, хотя живостью обращения и отсутствием седины он казался моложе.

– Да, – продолжал Аносов медленным своим низким голосом, смотря в окно и поглаживая бороду большой белой рукой с кольцами, – жить с людьми, на людях, бежать в общей упряжке может не всякий. Чтобы выносить подавляющую массу чужих интересов, забот, идей, вожелений, прихотей и капризов, постоянной лжи, зависти, фальшивой доброты, мелочности, показного благородства или – что еще хуже – благородства самодовольного; терпеть случайную и ничем не вызванную неприязнь, или то, что по несовершенству человеческого языка прозвано «инстинктивной антипатией», – нужно иметь колоссальную силу сопротивления. Поток чужих воль стремится покорить, унижить и поработить человека. Хорошо, если это человек с закрытыми внутренними глазами, слепыми, как глаза статуи; он на том маленьком пьедестале, какой дала ему жизнь, простоит непоколебимо и цельно. Полезно быть также человеком мироприятия языческого или, преследуя отдаленную цель, поставить ее меж собой и людьми. Это консервирует душу. Но есть люди столь тонкого проникновения в бессмысленность совершающихся вокруг них поступков, противочеловеческих, даже самых на первый взгляд ничтожных, столь остро болезненного ощущения хищности жизни, что их, людей этих, надо беречь. Не сразу высмотришь и поймешь такого. Большинство их гибнет, или ожесточается, или уходит.

– Да, это закон жизни, – сказал я, – и это удел слабых.

– Слабых? Далеко нет! – возразил Аносов. – Настоящий слабый человек плачет и жалуется оттого, что когти у него жидкие. Он охотно принял бы участие в общей свалке, так как видит жизнь глазами других. Те же, о которых говорю я, – люди – увы! – рано родившиеся на свет. Человеческие отношения для них – источник постоянных страданий, а сознание, что зло, – как это ни странно, – естественное явление, усиливает страдание до чрезвычайности. Может быть, тысячу лет позже, когда изобретения коснутся областей духа и появится возможность слышать, видеть и осязать лишь то, что нужно, а не то, что первый малознакомый человек захочет внести в наше сознание путем внушения или действия, людям этим будет жить легче, так как давно уж про себя решили они, что личность и душа человека неприкосновенны для зла.

Я немного поспорил, доказывая, что зло – понятие относительное, как и добро, но в душе был согласен с Аносовым, хоть не во всем, – так, например, я думал, что таких людей нет.

Он выслушал меня внимательно и сказал:

– Не в этом дело. Человек зла всегда скажет, что «добро» – понятие относительное, но никогда не скажет страдающий человек того же по отношению к злу. Мы употребляем сейчас с вами понятия очень примитивные и растяжимые; это ничего, так как нам помогает ассоциация и около двух коротеньких слов кипит множество представлений. Но возвратимся к нашим

особенным людям. Частица их есть почти во всех нас. Не потому ли, например, имеют большой успех, и успех чистый, такие произведения, как Робинзон Крузо, – что идея печальной, красивой свободы, удаления от зла человеческого слита в них с особенным напряжением душевных и физических сил человека. Если вы помните, появление Пятницы ослабляет интерес повести; своеобразное очарование жизни Робинзона бледнеет от того, что он уже не Робинзон только; он делается «Робинзон-Пятница». Что же говорить про жизнь населенных стран, где на каждом шагу, в каждый момент – вы – не вы, как таковой, а еще плюс все, с кем вы сталкиваетесь и кто ничтожной, но ужасной властью случайного движения – усмешкой, пожатием плеч, жестом руки – может приковать все ваше внимание, хотя вам желательно было бы обратить его в другую сторону. Это мелкий пример, но я не говорю еще о явлениях социальных. В этой невероятной зависимости друг от друга живут люди, и, если бы они вполне сознали это, без сомнения слова, речи, жесты, поступки и обращения их стали бы действиями разумными, бережными; действиями думающего человека.

Недавно в одном из еженедельных журналов я прочел историю двух подростков. Юные брат и сестра провели лето вдвоем на небольшом островке, в лугах; девочка исполняла обязанности хозяйки, а мальчик добывал пропитание удочкой и ружьем; кроме них на острове никого не было. Интервьюер, посетивший их, вероятно, кусал губы, чтобы не улыбнуться на заявление маленьких владетелей острова, что им здесь очень хорошо и они всем довольны. Разумеется, это были дети богатых родителей. Но я вижу их просто так, как они были изображены на приложенной к журнальному сообщению фотографии: они стояли у воды, держась за руки, в траве, и шурились. Фотография эта мне чрезвычайно нравится в силу смутных представлений о желательном в человеческих отношениях.

Он наклонился ко мне, как бы выспрашивая взглядом, что я об этом думаю.

– Меня интересует, – сказал я, – возможна ли защита помимо острова и монастыря.

– Да, – не задумываясь, сказал Аносов, – но редко, реже, чем ранней весной – грозу, приходится видеть людей с полным сознанием своего человеческого достоинства, мирных, но неуступчивых, мужественных, но ушедших далеко в сознании своем от первобытных форм жизни. Я дал их точные признаки; они, не думая даже подставлять правую для удара щеку, не прекращают отношений с людьми; но тень печали, в благословенные, сияющие, солнечные дни цветущего острова Робинзона сжимавшей сердце отважного моряка, всегда с ними, и они вечно стоят в тени. «Когда янычары, взяв Константинополь, резали народ под сводом Айя-Софии, – говорит легенда, – священник прошел к стене, и камни, раздвинутые таинственной силой, скрыли его от зрелища кровавой резни. Он выйдет, когда мечеть станет собором». Это – легенда, но совсем не легенда то, что рано или поздно наступит день людей, стоявших в тени, они выйдут из тени на яркий свет, и никто не оскорбит их.

Я задумался и увидел печального Робинзона на морском берегу в тишине дум.

Аносов сказал:

– Кое о чем хотелось бы рассказать вам. А может быть, вы мало интересуетесь этой темой?

– Нет, – сказал я, – что может быть интереснее души человеческой?

– В 1911 году привелось мне посетить редкого человека. Я стоял на Троицком мосту. Перед этим мне пришлось высидеть с другими не имеющими ночлега людьми полночи. Я, как и они, дремал на скамье моста, свесив голову и сунув руки между колен.

Подремывая, видел я во сне все соблазны, коими богат мир, и рот мой, полный голодной слюны, разбудил меня. Я проснулся, встал, решил и, – не скрою, – заплакал. Все-таки я любил жизнь, она же отталкивала меня обеими руками.

У перил было жутко, как на пустом эшафоте. Летняя ночь, пестрая от фонарей и звезд, окружила меня холодной тишиной равнодушия. Я посмотрел вниз и бросился, но, к великому удивлению своему, упал обратно на мостовую, а затем сильная рука, стиснув мне до боли плечо, поставила меня на ноги, отпустила и медленно погрозила пальцем.

Ошеломленный, я тихо смотрел на грозящий палец, затем решился взглянуть на того, кто встал между рекой и мной. Это был усталого, спокойного вида человек в темной крылатке, шляпе, бородатый и плотный.

– Обождите немного, – сказал он, – я хочу поговорить с вами. Разочарованы?

– Нет.

– Голодны?

– Очень голоден.

– Давно?

– Да... два дня.

– Пойдемте со мной.

В моем положении было естественно повиноваться. Он молча вышел к набережной, крикнул извозчика, мы сели и тронулись, я только что хотел назвать себя и объяснить свое положение, как, вздрогнув, услышал тихий, ровный, грудной смех. Спутник мой смеялся весело, от всей души, как смеются взрослые при виде забавной выходки малыша.

– Не удивляйтесь, – сказал он, кончив смеяться. – Мне смешно, что вы и многие другие будут голодать, когда на свете так много еды и денег.

– Да, на свете, но не у меня же.

– Возьмите.

– Я не могу найти работы.

– Просите.

– Милостыню?

– О, глупости! Милостыня – такое же слово, как все другие слова. Пока нет работы, просите – спокойно, благоразумно и веско, не презирая себя. В просьбе две стороны – просящий и дающий, и воля дающего останется при нем – он может дать или не дать; это простая сделка и ничего более.

– Просите! – с горечью повторил я. – Но вы ведь знаете, как одиноки, тупы, жестоки и злы все по отношению друг к другу.

– Конечно.

– О чем же вы говорите тогда?

– Не обращайтесь внимания.

Извозчик остановился. Пройдя двор, мы поднялись на четвертый этаж, и покровитель мой нажал кнопку звонка. Я очутился в небольшой, уютной, весьма простой и обыкновенной квартире. Нас встретила женщина и собака. Женщина была так же спокойна, как ее муж, привезший меня. Ее лицо и фигура были обыкновенными для всех здоровых, молодых и хорошеньких женщин; я говорю о впечатлении. Спокойный водолаз, спокойная женщина и спокойный хозяин квартиры казались очень счастливыми существами; так это и было.

Спокойно, как давно знакомый гость, я сел с ними за стол (собака сидела тут же, на полу) и ел, и, встав сытый, услышал, как объясняет жизнь мой спаситель.

– Человеку нужно знать, господин самоубийца, всегда, что он никому на свете не нужен, кроме любимой женщины и верного друга. Возьмите то и другое. Лучше собаки друга вы не найдете. Женщины – лучше любимой женщины вы не найдете никого. И вот, все трое – одно. Подумайте, что из всех блаженств мира можно взять так много и вместе с тем мало – в глазах других. Оставьте других в покое, ни они вам, ни вы им, по совести, не нужны. Это не эгоизм, а чувство собственного достоинства. Во всем мире у меня есть один любимый поэт, один художник и один музыкант, а у этих людей есть у каждого по одному самому лучшему для меня произведению: второй вальс Гадара; «К Анне» – Эдгара По и портрет жены Рембрандта. Этого мне достаточно; никто не променяет лучшего на худшее. Теперь скажите, где ужас жизни? Он есть, но он не задевает меня. Я в панцире, более несокрушимом, чем плиты броненосца. Для этого нужно так много, что это доступно каждому, – нужно только молчать. И тогда никто не

оскорбит, не ударит вас по душе, потому что зло бессильно перед вашим богатством. Я живу на сто рублей в месяц.

– Эгоизм или не эгоизм, – сказал я, – но к этому нужно прийти.

– Необходимо. Очень легко затеряться в необъятном зле мира, и тогда ничто не спасет вас. Возьмите десять рублей, больше я не могу дать.

И я видел, что более он действительно не может дать, и просто, спокойно, как он дал, взял деньги. Я ушел с верой в силу противодействия враждебной нам жизни молчанием и спокойствием. Чур меня! Пошла прочь!

1913 г.

## **ВОЗВРАЩЕННЫЙ АД**

## I

Болезненное напряжение мысли, крайняя нервность, нестерпимая насыщенность остротой современных переживаний, бесчисленных в своем единстве, подобно куску горного льна, дающего миллионы нитей, держали меня, журналиста Галиена Марка, последние десять лет в тисках пытки сознания. Не было вещи и факта, о которых я думал бы непосредственно: все, что я видел, чувствовал или обсуждал, – состояло в тесной, кропотливой связи с бесчисленностью мировых явлений, брошенных сознанию по рельсам ассоциации. Короче говоря, я был непрерывно в состоянии мучительного философского размышления, что свойственно вообще людям нашего времени, в разной, конечно, лишь силе и степени.

По мере исчезновения пространства, уничтожаемого согласным действием бесчисленных технических измышлений, мир терял перспективу, становясь похожим на китайский рисунок, где близкое и далекое, незначительное и колоссальное являются в одной плоскости. Все приблизилось, все задавило сознание, измученное непосильной работой. Наука, искусство, преступность, промышленность, любовь, общественность, крайне утончив и изоцирив формы своих явлений, ринулись неисчислимой армией фактов на осаду рассудка, обложив духовный горизонт тучами строжайших проблем, и я, против воли, должен был держать в жалком и неверном порядке, в относительном равновесии – весь этот хаос умозрительных и чувствительных впечатлений.

Я устал наконец. Я очень хотел бы поглупеть, сделаться бестолковым, придурковатым, таким смешливым субъектом со скудным диапазоном мысли и ликующими животными стремлениями. Проходя мимо сумасшедшего дома, я подолгу засматривался на его вымазанные белилами окна, подчеркивающие слепоту душ людей, живущих за устрашающими решетками. «Возможно, что хорошо лишиться рассудка», – говорил я себе, стараясь представить загадочное состояние больного духа, выраженное блаженно-идиотской улыбкой и хитрым подмигиванием. Иногда я прилипчиво торчал в обществе пошляков, стараясь заразиться настроением холостяцких анекдотов и самодовольной грубости, но это не спасало меня, так как спустя недолгое время я с ужасом видел, что и пошленькое пристегнуто к дьявольскому колесу размышлений. Но этого мало. Кто задумался хоть раз над происхождением неясного беспокойства, достигающего истерической остроты, и кто, минуя соблазнительные гавани доктрин физиологических, искал причин этого в гипертрофии реальности, в многоформности ее электризирующих прикосновений, – тот, конечно, не моргнув глазом, вынесет оправдательный вердикт невинному дурному пищеварению и признает, что, кроме чувств, воспринимающих мир в виде, так сказать, взаимных рукопожатий с ним и его абстракциями, существует впечатление на расстоянии, особая восприимчивость душевного аппарата, ставшая в силу условий века явлением заурядным. Некто болен, о чем вы не подозреваете, но вас беспричинно тянет пойти к нему. Случается и обратное, – некто испытывает сильную радость; вы же, находясь до этого в состоянии хронической мрачности, становитесь необъяснимо веселым, соответственно настроению данного «некто». Такие совпадения встречаются по преимуществу меж близкими или много думающими друг о друге людьми, примеры эти я привожу потому, что они элементарно просты, известны почти каждому из личного опыта и поэтому – достоверны, а достоверное убедительно. Разумеется, проверенность указанных совпадений не может простираться на человечество в совокупности, однако это еще не значит, что мы хорошо изолированы; раз впечатление на расстоянии установлено вообще, размеры расстояния как такового отпадают по существу вопроса, иначе говоря, в таком порядке явлений, где действуют (пора бы признать) агенты *малоисследованные*, – расстояние исчезает. И я заключаю, что мы ежесекундно подвергаемся тайному психическому давлению миллиардов живых сознаний, так же как пчела в улье слышит гул роя, но это – вне свидетельских показаний, и я, например, не мог спросить у насе-

ления Тонкина, не его ли религиозному празднику и хорошей погоде обязан одной-единственной, непохожей на остальные, минутой яркого возбуждения, полного оттенков нездешнего? Установить такую зависимость было бы величайшим торжеством нашего времени, когда, как я сказал и как продолжаю думать, изошренность нервного аппарата нашего граничит с чтением мыслей.

Моему изнурению, происходившему от чрезвычайной нервности и надоедливо тревожной сложности жизни, могло помочь, как я надеялся, глубокое одиночество, и я сел на пароход, плывущий в Херам. Окрестности Херама дики, но не величественны. Грандиозное в природе и людях по плечу только сильной душе, а я, человек усталый, искал дикости буколической.

Мы пересекали стоверстное озеро Гош в начале золотой осени Лилианы, когда ветры свежи и печальны, а попутные острова горят в отдалении пышными кострами багряной листвы. Со мной была Визи, девушка странной и прекрасной природы; я встретил ее в Кассете, ее родине, – в день скорби. Она знала меня лучше, чем я ее, хотя я думал об ее сердце больше, чем обо всем остальном в мире, и, узнавая, все же оставался в неведении. Не думаю, чтобы это происходило от глупости или недостатка воображения, но ее прелесть являлась для меня гармонией такой силы и нежности, которая уничтожала силу моего постижения. Я не назову чувство к ней словом уже негодным и узким – любовью, нет; радостное, жадное внимание – вот настоящее имя свету, зажженному Визи. Свет этот в красном аду сознания блистал подобно алмазу, упавшему перед бушующей топкой котла; так нежно и ярко было его сияние, что, будучи, предположительно, свободным от мира, я пожелал бы бессмертия.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.